

Дорота Евкодимов

## Семиотический анализ автобиографического нарратива Марины Цветаевой - возможности и ограничения

### A Semiotic Analysis of the Autobiographical Texts of Marina Tsvetaeva – Perspectives and Limits.

A large part of Marina Tsvetaeva's journals describes her years in Moscow immediately after the 1917 revolution. Tsvetaeva divides her post-revolutionary experiences into two separate spheres: internal life, being (*byt'e*) and external life, existence (*byt*), where internal life is valued positively, while external life is assessed negatively or neutral. The sphere of existence, in Tsvetaeva's testimony, constitutes the essence of the revolution. The main aim of this article is the description of this sphere, with the simultaneous definition of its relationship with *being*. Another goal is to define the boundaries of the semiotic analysis of an autobiographical text and the possibility of a pre-text experience, that exists prior to the text. In Tsvetaeva's text, I distinguish those fragments that refer directly to her individual experience of a revolution located in the area of individual emotionality. Determining to what extent the emotional experience is physiological and therefore pre-discursive, and to what extent cultural and therefore discursive, will depend on the possibility of its semiotic analysis.

Марина Цветаева уже с раннего детства вела записи в тетрадях, но только 15 из этих тетрадей, охватывающих 1913–1939 годы, сохранились. Остальные тетради были утрачены во время многочисленных путешествий и переездов Цветаевой. Эти записки имели для поэта огромное значение, так как в них, по ее мнению, проявлялось настоящее Я (см. Цветаева 2000: 42). Записные книжки Цветаевой были

опубликованы полностью только в 2000–2001 годах. Ранее были опубликованы фрагменты записок; некоторые вышли еще при жизни поэта в изданиях русского зарубежья: так, фрагменты *О любви*, *Чердачное*, *О Германии* были напечатаны в газете «Дни» в Берлине (с 1924 по 1925 год); отрывки из книги *Земные приметы* были представлены читателям в журнале «Воля России» в Праге (в 1924 году);

наконец, запись *О благодарности* появилась в журнале «Благонамеренный» в Брюсселе, в 1926 году (см. Цветаева 1997: 258–259). Редакторы полного издания *Записных книжек* представляют их как “предельно точно записанный, не преобразованный художественными задачами, голый экзистенциальный опыт” (Цветаева 2000: 6). Такое утверждение, пожалуй, звучит весьма спорно. Анализ автобиографических записей Цветаевой ясно указывает на те особенности, которые характерны если не самому художественному тексту, то его рабочему варианту, “пред-тексту” (Джаббарова 2018: 196). Но, несомненно, материал, который мы находим в записных книжках Цветаевой, индивидуален: он содержит элементы внутреннего, глубинного опыта поэта и ее непосредственной реакции на окружающую действительность.

Основная часть записных книжек представляет собой описание опыта послереволюционного времени. Цветаева особенно интенсивно вела записи в 1917–1920 годах. Автор подробным образом описывает ход повседневной московской жизни в первые годы после революции 1917 года. Записки, составленные в первые

годы послереволюционного периода, отличаются большим разнообразием содержания: с одной стороны, мы получаем подробное описание эмоциональных и интеллектуальных отношений, связывающих Марину Цветаеву и ее дочь Ариадну Эфрон, с другой – описание бытового окружения, условий жизни, цен на продукты питания. Ключевое значение для понимания природы революции имеют записки Цветаевой 1919 года. Этот год, в ее понимании, полностью выразил природу и последствия переворота двухлетней давности. Именно на анализе записок за это время я хочу сфокусировать свое внимание в данной статье.

“О, я когда-нибудь еще напишу Историю московского быта в 1919 году – Другой Революции не знаю!” (Цветаева 2000: 15): так напишет в своих записках Марина Цветаева. Исторический труд в итоге никогда не появится; тем не менее, его функцию выполнит как раз подробное описание “московского быта в 1919 году”, оставленное Цветаевой и сохранившееся в записках этого периода<sup>1</sup>. Этот *быт* станет, по

<sup>1</sup> Цветаева, будучи уже в эмиграции, хотела издать свои записки первых послереволюционных лет под названием *Земные приметы*, но книга ни-

словам Цветаевой, квинтэссенцией революции, ее сущностью, центром индивидуального восприятия революции поэтом. Написав про быт, поэт четко указывает на условия повседневной жизни в Москве и на бытовую среду, определяющую функционирование субъекта. Делая этот быт центром своего послереволюционного опыта, Цветаева четко и многократно отделяет его от того, что сама называет *бытием*. Таким образом, материальный порядок в какой-то степени переносится за пределы онтологического порядка, *жизнь тела* становится отдельной от *жизни души*, хотя при углубленном изучении записок эти отношения осложняются. Тут Цветаева актуализирует крайний онтологический дуализм, свойственный картезианскому наследию, признавая существование двух отдельных субстанций: духовной и телесной, существующих отдельно и независимо друг от друга. В контексте послереволюционного опыта этот подход, будучи частью мировоззрения поэта, станет главным образом формой защиты от дей-

---

когда не была издана. При жизни поэта были опубликованы, как мы уже сказали, только фрагменты записок.

ствительности, защиты внутренней жизни от тяжести повседневного быта. Однако глубокое изучение записок Цветаевой показывает, что сохранить упомянутую дихотомию, в конечном счете, является невозможным. Вследствие чего, использованная стратегия выживания не приводит ни к каким результатам. Цветаева четко очерчивает картину, изображающую опыт первых лет после революции 1917 года. Как уже было отмечено, она опирается на разделение внутренней жизни (*бытия*) и внешней жизни (*быта*), причем внутренняя жизнь оценивается положительно, тогда как внешняя жизнь определяется как нейтральная, объективная, но не особо значительная. При этом именно сфера быта показывает сущность революции: как раз описание этой сферы, и одновременно ее связи с бытием, является главной целью данной статьи. Вторая цель – определить границы семиотического анализа автобиографического текста, возможности существования *предтекстового* опыта, первичного по отношению к представленному текстовому опыту, а также его исследовательский потенциал. Из текста Цветаевой мы извлечем фрагменты, которые

напрямую касаются ее личного опыта послереволюционной действительности, находящегося в сфере личной эмоциональности. В дальнейшем, от определения того, насколько эмоциональный опыт имеет физиологический, т.е. преддискурсивный, или же культурный, т.е. дискурсивный, характер, будет зависеть возможность провести его семиотический анализ. Результаты наших размышлений позволят сформулировать концепцию, определяющую границы семиотического анализа, причем оставаясь в тесной взаимосвязи с содержанием самого текста.

Проведенный здесь анализ фрагментарен, так как касается обособленных частей текста. Наша относительно скромная цель – попытаться проверить эффективность инструментов анализа текста, выработанных в области новой гуманистики, особенно так называемого *affective turn*, обращая внимание на классический текст, каким являются записи Цветаевой. Записные книжки проанализированы многими исследователями, в основном с литературоведческой и с лингвистической точек зрения. Существуют подробные и очень интересные научные монографии, среди

которых стоит упомянуть хотя бы книгу И.В. Кудровой *Путь Комет. Жизнь Марины Цветаевой* (2002), работу А.А. Саакянц *Жизнь Цветаевой. Бессмертная птица-феникс* (2002), монографию И.Д. Шевеленко *Литературный путь Цветаевой: Идеология — поэтика — идентичность автора в контексте эпохи* (2015), и, наконец, работу С.А. Ахмадеевой *Особенности и принципы организации дневниковых текстов Марины Цветаевой как основа их стилистического анализа* (2015) – и это лишь основные труды на эту тему. Сначала в описании быта мы напрямую видим сферу, определяемую Лотманом как “бытовое поведение”. Чтобы показать, в какой области сфера “бытового поведения”, определенная Лотманом, совпадает с областью московского быта, описанного Цветаевой, мы прежде всего должны согласиться с этой концепцией. С точки зрения Юрия Лотмана

для позиции внутреннего наблюдателя вся сфера поведения обычно делится на две части: семиотически-маркированную и нейтральную. К первой относятся все виды общественного поведения,

которые воспринимаются самими носителями данной культуры как специально организованные. Они выделяются на нейтральном фоне обыденного поведения как особо значимые, ритуальные и этикетные. Им приписывается высокая государственная, религиозная, сословная, эстетическая и проч. ценность. Антитезой им является “обычное”, бытовое поведение, которое воспринимается как ненормированное и безоценочное (иллюзорность такого представления обнажается в болезненности, с которой каждый коллектив реагирует на нарушения именно в этой области). На самом деле речь должна идти не о неорганизованности, а о нейтральности организации этой сферы, ее немаркированности. Если условно определить одну сферу как область “идеологического”, а вторую — бытового поведения, то можно будет отметить, что: 1) сами носители той или иной культуры фиксируют лишь нормы первого в

специальных текстах и наставлениях, второе мыслится как “естественное”, не требующее описаний; 2) только первый тип поведения требовал некоторого специального обучения – второй усваивался как родной язык, не через правила и наставления, а непосредственно (Лотман 1973: 293–294).

Чертами бытового поведения, соответственно, являются внешнее отсутствие организованности, натуральность, непосредственность, отсутствие четких инструкций и указаний, определяющие и регулирующие повседневное поведение. Описание московской повседневной жизни 1919 года у Марины Цветаевой относится к особому историческому моменту. Москвичи его переживают в период, когда ежедневность стала не ежедневностью, и этот момент четко показывает “болезненности, с которой каждый коллектив реагирует на нарушения именно в этой области”. Говоря языком Лотмана, это момент взрыва, столкновения зафиксированного порядка элементов окружающей действительности с совершенно новым ее представлением.

Этот взрыв в процессе революции 1917 года охватывает все области личной и общественной жизни, приводя при этом к их радикальной реорганизации. И именно эта реорганизация на самом высоком уровне касается повседневности жителей Москвы и заставляет их приспособить свое поведение к новым условиям. Главная характеристика московского быта 1919 года – это тот факт, что он сильно отличается от опыта предыдущих лет. При этом он перестал быть нейтральным, стал важным и доминирующим, в его центре поместился экстремальный опыт лишений, голода и смерти. Цветаева нейтрализует этот опыт, обесценивает его в своих описаниях не потому, что он не имеет значения, а потому, что этого значения слишком много. Рутинный быт становится непривычным, одежда превращается в тряпье, еда – в объедки; в порядок семейной жизни вторгаются лишения и тоска. Чтобы приспособиться к экстремальным условиям жизни, и уцелеть в них, людям необходимо было четко определить и запустить новую программу поведения, которая позволяла бы выжить. Система поведения, которую приняла поэт, имела скорее всего

четко индивидуализированный, спонтанный характер и фактически была стратегией выживания.

Цветаева подробным образом описывает условия и ритм своей жизни в Москве:

Пишу на своем чердаке – кажется 10 ноября – с тех пор, как все живут по-новому, не знаю чисел. [...] С марта месяца ничего не знаю о Сереже, в последний раз видела его 18 января 1918 г., – как и где – когда-нибудь скажу – сейчас духу не хватает. [...] Живу с Алей и Ириной (Але 6 лет, Ирине 2 года 7 месяцев) в Борисоглебском пер., против двух деревьев, в чердачной комнате – бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 карт [офеля], остаток от пуда “одолженного” соседями – весь запас! [...] Живу даровыми обедами (детскими). [...] Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – ведра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде кар-

тошку, к [отор] ую варю в самоваре. [...] Хожу и сплю в одном и том же коричневом [...] платье (Цветаева 2001: 7–8).

[...] Кому дать суп из столовой: Але или Ирине? – Ирина меньше и слабее, но Алю я больше люблю. Кроме того, Ирина уж все равно плоха, а Аля еще держится, – жалко (Цветаева 2001: 309).

Распорядок дня поэта и ее дочерей преимущественно занимают попытки добыть еду. Скрупулезное описание повседневности остается, в убеждении Цветаевой, неполным, отсутствует в нем все то, что является содержанием внутренней жизни: “Но жизнь души – Алиной и моей – вырастает из моей записной книжки – стихов – пьес – ее тетрадки. Я хотела записать *только день*” (Цветаева 2001: 11).

Собственно *бытие* находится вне того, что мы называем повседневным бытом: “Стихи есть бытие: не мочь иначе” (Цветаева 2000: 31). Цветаева решительно отделяет *жизнь души* от повседневности. При этом день у нее – это только день, а настоящая жизнь идет в душе и выражается в лирическом творчестве. Быт рево-

люции как бы не касается ее самой, поэт отделяет свое сознание от быта. Эта диссоциация может быть формой защиты от преобладающей материальной действительности и является известным в психологии механизмом. Поэт делает ирреальной, неважной ту часть своего опыта, которая становится доминантой ее повседневности. К такому механизму защиты Цветаева, как кажется, прибегает в случаях, связанных с жизнью и смертью младшей дочери Ирины. В записках, которые относятся к Ирине, все время повторяются фразы о ее неполноценном интеллектуальном развитии. Ее раннее детство прошло в крайней нищете. Когда Цветаева вместе со старшей дочерью выходила из квартиры, младшая дочь оставалась одна, и ради безопасности привязывалась к креслу. В итоге она умерла в подмосковном приюте<sup>2</sup>. Поэт определяет жизнь и смерть Ирины как нереальность: “Ирина никогда не была для меня реальностью, я ее не знала, не понимала. [...]”

---

<sup>2</sup> Марина Цветаева отправила дочерей в детский приют, исходя из советов людей из близкого окружения поэта, которые считали, что благодаря такому решению она спасет их от голода, так как в это время голодала вся Москва.



Иринина смерть для меня также ирреальна, как ее жизнь. – Не знаю болезни, не видела больной, не присутствовала при ее смерти, не видела ее мертвой, не знаю, где ее могила” (Цветаева 2001: 85). Таким образом, мир переживаний Марины Ивановны делится на две сферы: реальное и ирреальное. При этом то, что ирреально, часто связано с трудным, травматическим опытом, что, вероятнее всего, еще и свидетельствует, что механизм освобождения реальности от некоторых элементов пережитого является действительно защитным механизмом Цветаевой, которая первые послереволюционные годы прожила в тяжелых условиях. Причем в записках мы находим целый ряд фрагментов, которые отрицают бинарное разделение биографического поля и позволяют ощутить сильную связь между жизнью тела и жизнью души. Эта связь делает поэта абсолютно беззащитной по отношению к внешним условиям ее жизни. Связь эта напрямую определяется в приводимом Цветаевой высказывании Константина Бальмонта: “О, это будет позорная страница в истории Москвы! Я не говорю о себе, как о поэте, я говорю о себе, как труженике. Не сидел

ли я с 19ти лет над словарями вместо того, чтобы гулять и влюбляться?! – Ведь я в буквальном смысле – голодаю. Дальше остается только смерть! Дураки думают, что голод – это тело, они не знают, что в тонких организмах голод – душа, сейчас же всей тяжестью падает на душу. Я угнетен, я в тоске, я не могу писать!” (Цветаева 2001: 16). Связь эмоционального и физического также присутствует в мыслях самой Цветаевой. В апреле 1919 года Цветаева отмечает “трагическое событие”:

Трагическая Вербная Суббота. Потеряла (в воду канули!) 500 руб. [...] О, это настоящее горе, настоящая тоска! Но горе – тупое, как молотом бьющее по голове. Я одну секунду было совершенно серьезно – с надеждой – поглядела на крюк в столовой. – Как просто! – Я испытывала самый настоящий соблазн” (Цветаева 2000: 317).

В контексте этого события Цветаева показывает хрупкую связь, соединяющую жизнь души и жизнь тела. Эта связь, в ее понимании, проявляется в “нервах”: “Нервы – тончайший



мост между душой и телом” (Цветаева 2000: 318). Эмоции и нервы, как их называет Цветаева, становятся звеном, соединяющим тело с душой. Описания Цветаевой полностью совпадают с постулатами современной психологии, которые называют аффективное состояние в оценке ситуации сложным состоянием, физиологической реакцией, готовностью к действию, а также аффектом (см. Frijda 1986).

Поэтому то, что поэт и внимательная наблюдательница своих внутренних переживаний называет нервами, современная психология определяет как эмоции, как явление аффективное, представляющее собой как познавательные, так и физиологические реакции. Тут раскрывается разнообразие и сложность элементов, регулирующих поведение личности. Существенными с этой точки зрения становятся уже не только законы социологической семиотики, но и этические нормы или этические категории, а на переднем плане появляется эмоциональный и физиологический опыт, который регулируется законами антропологии или психологии (Лотман 1973: 292–293). В описании послереволюционного периода Цветаевой существенную роль начи-

нают играть сильные персонализированные и телесные явления в связи с эмоциональными ощущениями, которые она сама называет нервами. Эта связь в случае с записками Цветаевой остается неоднозначной: с одной стороны, поэт разделяет оба вида ощущений, с другой – она демонстрирует их неразрывность. Попытка разделить обе сферы ощущений может быть принята как механизм защиты для того, чтобы выжить в экстремальной ситуации. Повседневность и бытовые условия поэт считает фоном своего опыта действительности; в дальнейшем же она описывает свое полное погружение в быт, в повседневность, в свою абсолютную зависимость от этого же быта.

В высказываниях Цветаевой мы находим сигналы, ведущие нас к первобытному внетекстовому опыту, центром которого становится тело: оно же впоследствии текстуализируется. Чтобы достичь до первичного опыта, от читателя или исследователя требуется изменение эпистемологического понятия, а также выхода за рамки текстового наклона. Данное положение в антропологии сформулировал Виктор Тернер, выступая за освобождение антропологии и воз-

вращение к контакту с телесной и умственной жизнью человеческого рода в этой дисциплине (см. Godlewski 2018: 62). Однако раскрыть предтекстовый опыт, хранящийся в автобиографическом тексте Цветаевой, невозможно по двум причинам. Во-первых потому, что этот опыт уже приобрел форму текста, и только посредством текста мы можем получить к нему доступ; во-вторых, нашему уму присуща естественная тенденция к текстуализации действительности, с которой он сталкивается – это следствие грамотности, понимаемой как состояние нашего разума. С другой стороны, опыт прочтения автобиографического текста выходит за рамки самого текста: надежным инструментом для извлечения содержания становится эмпатия, создающая пространство для того, чтобы опереться на свой собственный опыт, или же позволяющая создавать этот опыт. Таким образом, переступить через наклон текста возможно, но лишь в ограниченной мере. Воссоздание первичного предтекстового опыта при чтении автобиографического текста, наверняка, является иллюзией. Однако приблизиться к нему возможно. Стремление к тому, чтобы

преодолеть наклон текста, и желание приблизиться к непосредственному первичному опыту могут осуществиться, если придерживаться стратегии, разработанной на почве этнографических исследований в двух направлениях: наружу, к действительности чужого опыта, который мы хотим получить, и внутрь, путем противопоставления категориям познания, особенно созданным наклоном текста, осложняющим приближение к этому опыту (см. там же: 74). Следуя пути, проложенному “предтекстовой этнографией”, мы признаем существование предтекстового опыта, который будет подвергаться повторной обработке и текстуализации. При попытке получить такой опыт учитывается возможность *сопереживания* формирующих опыт событий, осуществляющегося благодаря телесности исследователя или читателя свидетельства. Однако такое сопереживание событий требует осознания процесса, а это связано с повторной текстуализацией, а также с нашим выходом из состояния погружения в собственный опыт телесности. Автобиографический текст Марины Цветаевой содержит опыт, уже переработанный и

текстуализованный самим автором. Эта переработка совершается уже в момент его вербализации, и даже в момент осознания, что непосредственно связано с приданием ему смысла. Субъективное подвергается объективизации, а индивидуальное превращается в коллективное; опыт тела определяется в рамках культурной семантики. Вопрос о возможности сопереживать события, сформировавшие эмоциональный опыт, и превратившиеся в содержание дневников Цветаевой времен революции требовал бы в таком случае решение все заново возникающего вопроса об отношениях между телом и душой, физиологией и культурой, преддискурсивным и дискурсивным. Вопрос об эмоциях и, следовательно, о доступе к эмоциям другого человека, превращается в вопрос об их физиологическом, т.е. сугубо индивидуальном, и культурном, т.е. коллективном измерении. Эти отношения были однозначно определены Лотманом, который в своем позднем труде *Культура и взрыв* ссылался на примеры из литературы и описал переход от физиологического к культурному. Объясняя процесс перехода физиологии к психологии и культуре, Лотман

изначально упоминает соотношение между “множественностью и единственностью”, являющееся фундаментальным признаком культуры. Лотман убежден, что “логическая и историческая реальность здесь расходятся: логическая конструирует условную модель некоторой абстракции, вводя единственный случай, который должен воспроизвести идеальную общность” (Лотман 2010: 14). Такой абстрактной структурой была в эпоху просвещения модель Человека, отличающаяся от действительного, исторического образа человечности. Основой такой модели оставалось стадное поведение, лишенное каких-либо отличительных признаков. Все, что выходило за его рамки, оставалось за пределами того, что воспринималось как существующее. Этому “нормальному” поведению, не имеющему признаков, противостояло только поведение больных, раненых, тех, кто воспринимался как “несуществующий”. На следующем этапе отклонение от “нормального” поведения возникает в области сознания, рассматривается как отклонение (“уродство, преступление, героизм”), создавая таким образом основу для прежде несуществующей оп-

позиции “индивидуального (аномального) и коллективного (нормального)” (там же). И только потом возникает возможность индивидуального поведения как пример и нормы для общего, а общего – как оценочной точки для индивидуального, то есть возникает единая система, в которой эти две возможности реализуются как неразделимые составляющие единого целого. Подытоживая вышесказанное словами Лотмана:

индивидуальное поведение и коллективное поведение возникают одновременно как взаимонепосредственные контрасты. Им предшествует неосознанность и, следовательно, социальное “несуществование” ни того, ни другого. Первая стадия выпадения из неосознанного — болезнь, ранение, уродство или же периодические физиологические возбуждения. В ходе этих процессов выделяется индивидуальность, потом вновь растворяющаяся в безиндивидуальности. Заданные постоянные различия поведения (половые, возрастные) превращаются из физио-

логических в психологические только с выделением личности, то есть с появлением свободы выбора. Так постепенно психология и культура отвоевывают пространство у неосознанной физиологии (Лотман 2010: 14–15).

Автобиографический текст Цветаевой может служить иллюстрацией для отдельных этапов вышеописанного процесса перехода физиологии к культуре и психологии. Читая его, при сохранении внутренней перспективы, мы увидим, что поэт переносит отклонение от нормы за пределы существующего. Ирина была для нее отклонением от нормы, которая находила свое выражение в персонаже ее дочери-первенца, как в интеллектуальном, так и в физическом (Ирина была слабой) планах, в результате чего она стала чем-то ирреальным. Зато наблюдая со стороны, мы увидим, каким образом сильно индивидуализированный текст подвергается обобщению. Индивидуализированная, личная реакция на послереволюционную действительность легко поддается психологическому описанию. Мы видим в ней защитный механизм, который

является повторяющейся и правильной реакцией человека на травматическую ситуацию. Кроме того, автобиографический нарратив Цветаевой совершенствует послереволюционный текст, включая в его рамки опыт материи и эмоции, бытовое поведение. То, что является второстепенным для текста, посвященного послереволюционному периоду, становится центром, внедряет физиологию в текст культуры. Эмоции уже давно являются предметом научных исследований, выходящих за рамки психологии. Это касается в первую очередь эстетических теорий, учитывающих субъективный аспект создания и восприятия произведения искусства. Начиная с 90-х годов, можно отметить возрастающий интерес к ним. Это явление получило название *аффективного поворота*, развивающегося параллельно к материалистическому повороту. Оба поворота образуют общую тенденцию в теории культуры, направленную не против самого языка, а против гегемонии языка, показывают стремление выйти за пределы дискурсивных практик. Сам *аффективный поворот* в своей умеренной форме не относится к эмоциям как к преддискурсивным реакциям ин-

дивида, а как к социальным и культурным практикам: подчеркиваются социальное и культурное измерения эмоциональных состояний. Такой подход кажется более реалистичным, чем вышеупомянутый пример преддискурсивной этнографии, совершающей попытку полностью избежать текстового наклона. Внимание сосредоточено на том, каким образом текст культуры моделирует субъективные эмоциональные состояния на основании того, как личность использует культурный ресурс, выражая свое внутреннее состояние. Таким источником может быть не только поэтический текст Марины Цветаевой, но еще и ее автобиографический текст. Наконец,

сталкиваясь с традиционной оппозицией между эмоциями и разумом, дискурсом и аффектом, самые главные направления в современной теории общества и теории культуры изучают и заново рассматривают захват/злоупотребление эмоциями со стороны политики и этики; место эмоций, аффектов, чувств и чувствительности в пределах политики и политических теорий;

аффективное измерение норм; аффективность как условие субъективности; эмоциональный и аффективный элемент социальных норм как конститутивное измерение субъективизации (Athanasiou, Hantzaroula, Yannakoroulos 2008: 5 [здесь перевод мой – Д. Е.]).

Такое перенаправление внимания исследователей восстанавливает в гуманистическом дискурсе ранее пропускаемые или маргинализируемые мотивы личного опыта, заставляет осознать первичность индивидуального опыта в отношении коллективного опыта, особенно в травматичных обстоятельствах. Больше внимания уделяется также тексту, который содержит описание повседневной жизни и эмоциональную оценку исторических событий с позиции женского гендера. В эту категорию свидетельств о личной травме попадает, несомненно, текст Цветаевой. Литературный текст возникает из непосредственного опыта реальности, из телесного опыта и из физиологии, которые, будучи осознанными, выражаются посредством языка. Поздние рассуждения Лотмана, упомянутые выше, вписываются в

рамки аффективного поворота в его умеренной форме, опережая их во времени. Лотман замечал то, что ускользало от внимания гуманистов на протяжении многих лет. Он восстанавливает важность индивидуального опыта, лежащего в основе общих культурных правил или психологических закономерностей. В этом смысле личный, эмоциональный текст Цветаевой становится неотъемлемым элементом культурного текста. В то же время только семиотический анализ автобиографического текста поэта позволяет раскрыть хранящийся в нем потенциал непосредственного опыта реальности. Для того, чтобы можно было передать опыт, он должен приобрести текстовую форму, а затем, в процессе чтения, будет происходить его личная ретекстуализация, результат которой будет зависеть от индивидуального культурного потенциала и жизненного опыта читателя. Этот результат будет включать эмоциональную составляющую, эмоциональный отклик на прочитанное, а также физиологическую, органическую реакцию. В силу личного, индивидуального характера этой ретекстуализации, ее результат никогда не будет таким же, как первона-

чальный опыт, представляющий собой исходную форму текста.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Текст представляет собой продолжение и развитие вопросов, затронутых мною в статье: Jewdokimow, Dorota. 2018/2019. 'The Never Written History of a Moscow Existence of 1919. The Warsaw School of the History of Ideas in the Light of Marina Tsvetaeva's Notes', *The Interlocutor. Journal of The Warsaw School of The History of Ideas*, 2: 133–146.



## Библиография

Джаббарова 2018: Е. Джаббарова, *Дневниковая проза М. Цветаевой: авторская концепция и законы жанра*, «Иzv. Урал. федер. ун-та». Сер. 2 Гуманитар. Науки, 2018, Т. 20, № 2 (175), с. 189–198.

Лотман 1973: Ю. Лотман, *Статьи по типологии культуры*, вып. 2, Тарту, Тартуский университет, 1973.

Лотман 2010: Ю. Лотман, *Семиосфера*, Санкт-Петербург, Искусство-СПБ, 2010.

Цветаева 1997: М. Цветаева, *Собрание сочинений в 7 тт.*, Москва, ТЕРРА, Книжная лавка – РТР, 1997, Т. 4, Кн. 2.

Цветаева 2000: М. Цветаева, *Неизданное. Записные книжки*, Москва, Эллис Лак, 2000, Т. 1.

Цветаева 2001: М. Цветаева, *Неизданное. Записные книжки*, Москва, Эллис Лак, 2001, Т. 2.

Athanasidou, Hantzaroula, Yannakopoulos 2008: Athanasidou, Athena; Hantzaroula, Pothit; Yannakopoulos, Kostas. 2008. "Towards a New Epistemology: The "Affective Turn"", *Historiein*, 8: 5-16.

Frijda 1986: Frijda, Nico H. *The Emotions* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

Godlewski 2018: Godlewski, Grzegorz. 2018. 'Poza nachylenie tekstowe, w stronę doświadczenia przedtekstowego. Wskazówki terapeutyczne', *Teksty drugie*, 1: 61–78.